18+

ИЛЬЯ СКАД

ЧУГУННОЕ НЕБО

- СЛАДКИЕ КОШМАРЫ -



Илья Скад

Чугунное небо. Сладкие кошмары

«Издательские решения»

Скад И.

Чугунное небо. Сладкие кошмары / И. Скад — «Издательские решения»,

В приюте «Гранитный покой» экспериментальная паровая камера, призванная лечить душевные страдания стиранием памяти, пробуждает в стенах здания вековую боль, которая начинает поглощать живых. Санитар Леон, несущий груз собственной вины за смерть сестры, обнаруживает, что токсичный осадок в трубах превращает её в физическую угрозу, подчиняющую себе волю пациентов и врачей. Это мрачная готическая драма о цене тишины, границах науки и искуплении, которое невозможно без принятия собственной боли.

© Скад И.
© Издательские решения

Содержание

Пролог 6
Возвращение 12
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Чугунное небо
Сладкие кошмары

Илья Скад

© Илья Скад, 2026

ISBN 978-5-0071-6074-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Лазарет при работном доме занимал первый этаж каменного флигеля, построенного ещё в прошлом веке для богадельни. Стены были толстые, окна узкие, и зимой в палате стоял такой холод, что вода в кувшине у печки покрывалась к утру коркой льда. Уголь выдавали по счёту. Старшая сестра милосердия запирала кладовую на ключ после полуночи, чтобы ночная смена не топила лишнего, и к трём часам печка остывала. Пар изо рта висел над подушками. Окна покрывались изнутри слоем инея, который к рассвету превращался в лёд.

Леон сидел на табурете в конце палаты, у остывшей печки. Он был в пальто, накинутом поверх форменной куртки, и держал руки в карманах. Пальцы не гнулись. Он считал вдохи и выдохи: сначала у левой койки, потом у правой, потом у дальней, где лежала женщина с водянкой. Дыхание было ровным. Он записывал в журнал время и состояние. Журнал лежал на коленях, и карандаш оставлял на бумаге бледные следы.

В палате было двенадцать коек. Семь заняты. Четверо спали, один бредил, одна женщина лежала без сознания с открытыми глазами, и ещё одна, в углу у окна, была пристёгнута к спинке кровати кожаными ремнями.

Это была его сестра.

Её звали Марта. Ей было шестнадцать. Она лежала в лазарете третий месяц, и всё это время Леон работал в ночную смену, чтобы быть рядом. Днём он спал в каморке при прачечной, вечером приходил, получал у старшей сестры ключи и журнал, и садился на табурет у печки. Так было проще. Так он мог присматривать за ней и получать жалованье, которого хватало на еду и на дрова для каморки.

У Марты была горячка, которая началась осенью и не проходила. Доктор Бем, который приходил по вторникам и пятницам, говорил, что это нервная лихорадка и что со временем пройдёт. Он прописал порошки, холодные компрессы и ремни, потому что Марта во время приступов билась головой о спинку кровати и один раз вывихнула себе плечо.

Ремни Леон затягивал сам. Каждый вечер, перед обходом, он подходил к её койке, проверял узлы и ослаблял их на одно отверстие, чтобы ей было не так тесно. Марта смотрела на него и ничего не говорила. В последние недели она почти не говорила. Только во время приступов, когда жар поднимался, она начинала звать мать, которая умерла пять лет назад, и ещё кого-то, чьё имя Леон не узнавал. Иногда она звала его. Это было хуже всего.

В тот вечер доктор Бем заходил перед ужином. Он осмотрел Марту, посчитал пульс, покачал головой и велел не ослаблять ремни.

— Она может навредить себе, — сказал он. — Если начнётся приступ, не развязывайте. Я приду утром.

Леон кивнул. Он стоял у койки и смотрел, как доктор уходит. Потом подошёл к изголовью и ослабил ремни на одно отверстие. Марта не заметила. Она лежала с закрытыми глазами и дышала часто и поверхностно.

Вечером Леон получил у старшей сестры журнал и ключи. Он обошёл палату, проверил каждого пациента, поправил одеяла, дал воды женщине с водянкой. Потом сел на табурет и стал ждать.

Ночь тянулась медленно. Бредящий пациент, старик с провалившимися щеками, что-то бормотал во сне. Женщина с открытыми глазами лежала неподвижно, и её дыхание было таким тихим, что Леон несколько раз подходил и проверял, жива ли она. В коридоре за дверью кто-то ходил, и шаги стихали у дальней стены. Потом всё затихло.

Около часа ночи женщина с водянкой проснулась и попросила пить. Леон принёс ей кружку, приподнял ей голову и подождал, пока она напьётся. Она была тяжёлая, и у неё дрожали руки. Он поправил подушку и вернулся на табурет.

Он проснулся от стука.

Стучали по железной спинке кровати. Три раза, пауза, три раза. Он знал этот стук. В детстве, когда они жили в одной комнате и отец запрещал им разговаривать после отбоя, Марта стучала по стене костяшками пальцев. Три раза, пауза, три раза. Он отвечал ей тем же, и они лежали так часами, пока не засыпали. Потом отец умер, и они переехали в город, и стена между их кроватями исчезла.

Леон поднял голову. В палате было темно. Лампа горела только у двери, и её свет не доходил до угла, где стояла койка Марты. Он прислушался. Стук повторился. Теперь он был громче.

— Марта, — сказал он. — Спи.

Стук не прекратился. Он стал чаще. Три удара, пауза, три удара, пауза. Леон встал и подошёл к койке. Марта лежала на спине, и её глаза были открыты. Она смотрела на него.

— Леон, — сказала она. — Здесь холодно.

— Я знаю. Сейчас принесу ещё одно одеяло.

— Не уходи.

— Я на минуту.

Он пошёл к шкафу в конце палаты, где хранились одеяла. Шкаф был заперт. Ключ висел у старшей сестры на поясе, а старшая сестра спала в своей комнате за дверью. Леон постоял у шкафа, потом вернулся к койке.

— Сейчас принесу, — сказал он. — Подожди.

Марта смотрела на него. Она не плакала. У неё не было сил плакать. Она просто смотрела, и в её глазах было что-то, чего Леон не хотел видеть.

— Не уходи, — повторила она.

— Я быстро.

Он вышел из палаты и пошёл по коридору к комнате старшей сестры. Коридор был длинный, с низким потолком, и в конце его горела свеча в железном подсвечнике. Леон дошёл до двери и постучал. Ответа не было. Он постучал ещё раз, громче. За дверью послышалось движение, потом голос:

— Кто там?

— Это Леон. Мне нужен ключ от шкафа с одеялами. Сестре холодно.

— Сейчас три часа ночи.

— Я знаю. Она замерзает.

За дверью помолчали. Потом старшая сестра сказала:

— Возьми в кладовой у печки, там есть старое одеяло.

Леон постоял у двери. Он мог постучать ещё раз. Мог сказать, что сестра зовёт его и что ему нужно вернуться. Но он уже слышал, как за дверью снова заскрипела кровать. Старшая сестра легла обратно.

Он вернулся в палату. Марта лежала в той же позе. Стук прекратился. Леон подошёл к койке и поправил на ней одеяло. Оно было тонкое, с прорехой на углу. Он подоткнул его с боков и ослабил ремни ещё на одно отверстие.

— Так лучше? — спросил он.

Марта не ответила. Она смотрела в потолок. Через минуту её глаза закрылись.

***

Каждый раз, когда кожаная петля затягивалась на запястье, мир сужался. Сначала исчезали дальние углы палаты, потом — окно с инеем, потом — силуэт брата у печки. Оставалось только то, что было внутри: жар, стук сердца в ушах и этот звук — низкое, ровное гудение, которое жило в стенах и не прекращалось ни днём, ни ночью. Доктор Бем называл это лихорадкой. Марта знала, что это не лихорадка. Лихорадка приходит и уходит. А это — оставалось. Оно входило в неё через дыхание, через поры, и вытесняло всё, что было ею.

Сегодня вечером жар был особенно сильным. Он поднимался волнами, и каждая волна уносила с собой кусочек мира. Сначала ушло имя матери. Марта пыталась удержать его, повторяла про себя, как заклинание, но слово становилось пустым звуком, лишённым образа, запаха, тепла. Потом ушло лицо отца. Она помнила, что он был, но не могла вспомнить, как он выглядел. Только руки. Большие, шершавые, пахнущие табаком. Но и руки начали расплываться, как рисунок на мокром стекле.

Она лежала и смотрела в потолок. Трещина в штукатурке, которую она изучала месяцами, сегодня казалась чужой. Она знала, что это трещина, но не чувствовала её. Зрение работало, но смысл ускользал. Мир превращался в набор пятен и линий, лишённых названий.

И тогда пришёл Леон.

Она услышала его шаги раньше, чем увидела. Знакомый ритм. Так он ходил с детства, когда торопился, но старался не шуметь. Этот ритм был единственным, что ещё держалось.

Он подошёл к койке. Его лицо было в тени, но она знала каждую черту. Знавала их лучше, чем свои собственные. Он наклонился, и его пальцы коснулись ремня на её левом запястье. Пальцы были тёплыми. Живыми. Настоящими.

Он ослабил ремень на одно отверстие. Всегда на одно. Это был их язык. Не тот, который состоял из слов и который она теряла, а другой — из прикосновений, из давления кожи на кожу, из этого едва заметного послабления, которое говорило: я здесь. Я помню. Ты не одна.

Марта хотела ответить. Хотела сказать: «Спасибо». Или: «Мне холодно». Или просто позвать его по имени. Но язык был тяжёлым, непослушным, как чужой предмет во рту. Слова собирались в горле, но не складывались в звуки. Они распадались на осколки, на обрывки смыслов, которые не могли соединиться. Она открывала рот, и выходил только хрип, тихий, как дыхание ветра в щели.

Леон не слышал. Или слышал, но не понимал. Он поправил одеяло, подоткнул его с боков, и его движения были правильными, привычными, отработанными месяцами дежурств. Он делал всё, что должен был делать санитар. Но не то, что должен был делать брат.

Она смотрела на него и видела, как он уходит. Его взгляд скользил по ней, не задерживаясь, как по предмету мебели, по части интерьера палаты. Он проверял узлы, поправлял подушку, выполнял обязанности. И в этом было больше одиночества, чем в любой запертой двери.

Не уходи, — кричала она внутри. Крик был громким, отчаянным, он заполнял всю её голову, но губы оставались неподвижными. Посмотри на меня. Не на ремни. На меня. Я ещё здесь. Я ещё я.

Но он уже отвернулся. Пошёл к шкафу. Сказал: «Сейчас принесу». И вышел.

Дверь закрылась. Щелчок замка был тише удара сердца, но прозвучал как приговор.

В комнате стало темно. Лампа у двери горела, но свет не доходил до угла, где стояла её койка.

Жар поднялся новой волной. И с ним пришло понимание: она больше не может ждать. Не потому что умрёт. Смерть была далеко, она была фактом, как стена или потолок. Она не могла ждать, потому что она уходила быстрее, чем тело. Каждая минута без ответа, без взгляда, без прикосновения стирала ещё одну линию, ещё один оттенок, ещё одну связь. Скоро не останется ничего, кроме дыхания и стука сердца.

Она подняла правую руку. Ремень позволял двигать ею на несколько сантиметров. Костяшки пальцев коснулись железной спинки кровати. Металл был холодным. Она собрала всё, что ещё было ею, — остатки воли, памяти, любви, страха, — и ударила.

Три раза. Пауза. Три раза.

Это был их код. Тот самый, из детства. Они стучали так часами, пока не засыпали, и в этом стуке было больше близости, чем во всех словах, которые они говорили днём.

Она стучала и слушала. Ждала ответа. Ждала того самого ритма, который подтвердил бы, что связь ещё существует, что она не растворилась в жаре и темноте.

Тишина.

Только гудение в стенах. Ровное, безразличное, вечное.

Она стукнула снова. Громче. Отчаяннее.

Ответ не пришёл.

И в этой тишине, в этом отсутствии ответа, что-то оборвалось.

Жар накрыл её с головой. Мир сузился до точки. Точка пульсировала в такт сердцу, и в ней не было ни Леона, ни матери, ни отца, ни солнца, ни снега. Была только эта пульсация. И гудение. Гудение, которое теперь звучало не снаружи, а внутри, заменяя собой всё, что было утрачено.

Она закрыла глаза. Не потому что хотела спать. Потому что смотреть больше не на что было.

Когда Леон вернулся, она уже не ждала. Она была далеко. В том месте, где нет имён, нет лиц, нет стука. Где есть только ритм, который не требует ответа.

Он поправил одеяло. Ослабил ремень ещё на одно отверстие. Спросил: «Так лучше?»

Она не ответила. Не потому что не могла. Потому что вопрос был задан на языке, которого она больше не знала.

***

Леон вернулся на табурет. Он сидел и смотрел на неё. Потом посмотрел на часы. Было без четверти три. Он решил, что подождёт до утра и тогда сходит к старшей сестре и попросит тёплое одеяло.

Он задремал. Когда он открыл глаза, в окнах было серо. В палате пахло холодом и мокрой шерстью. Леон встал и пошёл к койке Марты.

Она лежала на спине. Её глаза были открыты. Он приложил ладонь к её рту. Дыхания не было. Он приложил пальцы к шее. Пульса не было. Он постоял так, наклонившись над ней, и почувствовал, как у него холодеют руки.

В коридоре послышались шаги. Дверь открылась, и вошла старшая сестра с лампой. Она увидела Леона у койки и всё поняла сразу. Она подошла, проверила пульс, потом закрыла Марте глаза.

— Когда это случилось? — спросила она.

— Не знаю, — сказал Леон. — Я задремал.

— Она звала кого-нибудь?

Леон помолчал.

— Нет, — сказал он. — Она спала.

Старшая сестра кивнула. Она пошла за доктором Бемом, который жил в соседнем доме. Доктор пришёл через полчаса, осмотрел тело и сел за стол в конце палаты. Он достал журнал и раскрыл его на странице с записями.

— Причина смерти? — спросил он, не поднимая головы.

— Горячка, — сказала старшая сестра. — Ночной приступ.

— Осложнения?

— Не было.

Доктор Бем что-то записал. Потом поднял голову и посмотрел на Леона.

— Вы дежурили ночью?

— Да.

— Она звала вас?

Леон почувствовал, как у него сжимается горло. Он вспомнил стук, голос, её глаза. Он вспомнил, как вышел из палаты и пошёл по коридору, и как стоял у двери старшей сестры, и как вернулся и ослабил ремни. Он вспомнил, как сказал: «Так лучше?» — и как она не ответила.

— Нет, — сказал он. — Она спала.

Доктор Бем кивнул и снова взялся за перо. Он написал ещё несколько строк и протянул журнал Леону.

— Подпишите, — сказал он. — Как дежурный санитар.

Леон взял перо. Оно было холодное и скользкое. Он посмотрел на запись: «Марта Верн, шестнадцать лет. Ночной приступ лихорадки. Внезапная остановка сердца. Осложнений не выявлено».

Он подписал.

Потом он вышел во двор. Снег шёл с ночи, и дорожка от крыльца к воротам была уже заметена. Леон постоял на ступенях, глядя на белый двор. Чернила на его пальцах ещё не высохли, и он вытер их о штаны. Пятно осталось. Он посмотрел на него, потом сунул руки в карманы и пошёл к воротам. За его спиной, в лазарете, старшая сестра закрывала окна в палате.

После похорон Леон вернулся в лазарет за вещами Марты. Старшая сестра позволила взять рубашку, гребень и бумажный пакет с двумя пуговицами, которые оторвались ещё осенью. Вещи лежали на койке, сложенные так аккуратно, что он сперва оглянулся на соседние кровати: не ошибся ли местом. Под простынёй не было углубления от тела. Матрас уже перевернули.

Он спросил о ремнях. Старшая сестра показала на медный таз под окном. Кожаные полосы отмокали в холодной воде вместе с застёжками. Завтра их высушат и перенесут в другую палату. Леон узнал на одном ремне отверстие, которое проколол сам шилом, когда запястье Марты исхудало и прежней длины не хватало. Он взял его в руки, потом положил обратно. Ему было стыдно прикасаться к вещи, которая пережила сестру и уже получила новое назначение.

На дне пакета лежала короткая записка. Марта попыталась написать её в первые недели болезни. Она обрывалась на словах: «Когда ты придёшь, спроси меня…» Дальше бумага была промочена водой. Леон просидел с этой запиской до вечера, пока старшая сестра не попросила освободить палату. Он так и не узнал, что должен был спросить.

В журнале ночных дежурств появилась новая запись. Его подпись стояла под причиной смерти. Никаких замечаний о ремнях, стуке и запертом шкафе там не было. На полях оставалось место для одной строки. Леон взял перо, но старшая сестра вошла за ключами, и он закрыл журнал. Она посмотрела на него внимательно.

— Вы могли бы отдохнуть несколько дней, — сказала она.

— Работы много.

— Именно поэтому и отдохните. Я найду смену.

Леон услышал в этих словах предложение и приказ одновременно. На следующий день он не пришёл. Неделю спустя его попросили вернуться и собрать книги из каморки при прачечной. В коридоре уже дежурил другой санитар. Он спросил, где найти запасные одеяла. Леон показал кладовую у печки и ушёл прежде, чем тот успел поблагодарить.

За городом стояли холода. Леон находил работу там, где требовались руки и где никто не спрашивал, что случилось в лазарете. В одной больнице он растапливал печи; в другой мыл полы. Он научился различать запах сырой извести, карболки и простого негашёного угля. Ночью его будил стук водосточной трубы. Он вставал, прислушивался, потом выходил во двор и смотрел, как ветер толкает жесть. По утрам он почти не помнил этих выходов, зато на сапогах оставалась грязь.

Когда Морвэн предложил ему место в «Гранитном покое», Леон спросил, сколько палат придётся обслуживать ночью. Доктор ответил: две на первом этаже и одну на втором, всего меньше двадцати человек. Тогда Леон спросил про шкафы. Морвэн не понял. Пришлось объяснить, где лежат одеяла и у кого ключ. Доктор показал открытую кладовую за кухней и удивился, почему это важно. Леон сказал, что зимой у лежачих людей часто мёрзнут ноги. Этого ответа хватило.

Первые месяцы он приходил на смену раньше, чем требовалось. Проверял двери, вёдра с водой и состояние печей. Если пациент просил чего-то ночью, Леон старался отвечать сразу. Он заметил, что желание быть рядом с каждым превращает его обход в бесконечную проверку: стоит повернуться к одной койке, как в голове уже возникает другая. Он начал вести небольшую записную книжку. В ней были часы, имена и простые просьбы. Показания температуры он записывал отдельно. Ни одна строка не могла вернуть Марту, но строки помогали не забыть живых.

О сестре он никому не говорил. В Штальбурге не знали ни работного дома, ни той палаты. Леон мог пройти по рынку, купить хлеб, услышать, как торговцы спорят о цене угля, и на несколько минут стать обычным человеком. Вечером он возвращался к воротам приюта. Ключ входил в замок туго. За воротами начинался двор, в котором каждый звук был слышен слишком отчётливо.

Через год Леон увидел старшую сестру на улице. Она несла корзину с хлебом и сначала не узнала его. Когда узнала, спросила, работает ли он по-прежнему с больными. Леон ответил, что да. Она сказала, что это хорошо, и крепче взяла корзину. Они оба помнили последнюю ночь Марты. Никто не произнёс её имени. Леон вернулся в приют и до конца смены думал о том, что молчание может сохранять порядок между людьми десятилетиями, а ночью снова превращаться в стук.

В лазарете после смерти сестры он долго винил запертый шкаф. Потом заметил, что у него было несколько других решений: вернуться без одеяла и остаться рядом; поднять старшую сестру; принести старое из кладовой; позвать доктора. На каждое решение нашлось объяснение, почему он не сделал его. Объяснения были правдивыми. Ни одно не меняло факта, что Марта попросила его не уходить. Когда теперь пациент говорил то же самое, Леон останавливался хотя бы на минуту, прежде чем выполнить следующую задачу.

Так он однажды пропустил время обхода. Морвэн заметил и сделал выговор. Леон не объяснил, почему сидел возле койки человека с ночным страхом. Он попросил перераспределить комнаты, чтобы между обходами было больше времени. Доктор отказал: штат не расширяли. Тогда Леон начал оставлять у каждой кровати кружку воды и проверять её перед отбоем. Это не заменяло человека. Но снижало число ночных просьб, на которые он приходил слишком поздно.

В палатах его называли по имени. Для одних он был молчаливым санитаром, для других — человеком, который мог добыть запасные носки или починить окно. Он не стремился стать любимым. Его тревожило, когда пациенты слишком зависели от его обещаний. Однажды он сказал Эмилю, что останется рядом, и сразу вспомнил Марту. Теперь каждое обещание требовало точного места: рядом с дверью камеры, рядом с койкой, до утра. Он учился произносить лишь то, что мог выполнить.

Возвращение

Прошло несколько лет. На лестнице «Гранитного покоя» Леон научился отличать тяжёлый шаг Готлиба от лёгкого шага Агнесы; в палате мог угадать по кашлю, кому нужна вода. Морвэн считал эту способность полезной и поручал ему ночные обходы. Леон соглашался. В начале каждой смены он проверял ключи от кладовой, хотя дверь там почти всегда оставалась открытой. Потом обходил окна, считал одеяла и записывал, кто спит.

В первые месяцы всё объяснялось устройством старого дома. Трубы стучали, когда вода остывала. Сквозняк заставлял дверь в пустую палату приоткрываться. Каменные стены держали холод дольше, чем кирпичи соседней пристройки. Леон знал такие вещи по прежней работе и не искал в них знаков. От лазарета осталась привычка отвечать на каждый зов прежде, чем он станет настойчивым. Иногда больные просили его уйти и дать им поспать.

Морвэн любил рассказывать о будущем лечении. Он показывал чертежи, записанные результаты и статистику сна. По его словам, многие поступавшие в приют боялись ночи сильнее болезни. Когда камера начала давать ровный эффект, врач получил деньги на новые трубы. Леон видел людей, которые действительно впервые за много недель спали до утра. Он видел и тех, кто перестал спрашивать о семье. Сначала таких было немного, и доктор объяснял это индивидуальной реакцией. Леон не был врачом и не мог доказать обратное. Он продолжал записывать.

Однажды Готлиб спросил, почему санитар ведёт отдельную тетрадь, если уже есть официальный журнал. Леон показал запись о человеке, который не жаловался после процедуры, но оставил письмо матери недописанным.

Летом после дождя на одной стене появился запах зрелых яблок. Агнеса решила, что из кладовой тянет испорченными фруктами, и вынесла ящики во двор. Запах остался у трубы. Печник пришёл, осмотрел кладку и сказал, что в старом доме хватает сырости. Морвэн велел очистить шов. К осени запах исчез. Когда вернулся с холодами, никто не связал два случая, кроме Леона. Он не был уверен и в собственной памяти, поэтому записал обе даты.

В конце октября угля стало не хватать. Морвэн проводил всё больше времени над схемами обратного контура, обещая вернуть отработанный пар в отопление. Готлиб радовался экономии.

Леон по вечерам дописывал на полях то, что пациент сказал вне осмотра. Одна женщина жаловалась, что после лечения перестала плакать по умершему сыну и стыдится облегчения. Она не просила вернуть прежние приступы боли. Хотела знать, осталось ли у неё право помнить сына, если теперь имя не вызывает слёз. Леон не отвечал за врача. Он записал её слова целиком и предложил принести фотографию из сундука. Женщина держала её до ночи.

Были и другие случаи. Мужчина, который не спал неделями, после камеры впервые провёл тихую ночь и проснулся благодарным. Ему удалось вернуться к работе в мастерской. Через месяц он прислал записку доктору с просьбой передать благодарность. Леон видел её и не пытался объявить результат ложным. Он знал, что методы могут помочь одному и разрушить другого. Это осложняло его страх: если бы вред был одинаковым, остановить машину было бы проще и врач не смог бы убедить себя, что делает добро.

Первые споры с Морвэном касались мелочей. Леон просил дать пациенту день между процедурами. Доктор говорил, что интервалы рассчитаны. Леон просил не переводить тихого человека в комнату у горячей трубы. Врач указывал, что там меньше сквозняков. Иногда Морвэн уступал, иногда объяснял отказ. Леон продолжал работать, потому что видел людей, которым требовался он сегодня.

Леон вернулся в Штальбург к полудню. Дорога от городской управы заняла больше времени, чем он рассчитывал: возчик с углём застрял у переезда, и лошади долго стояли под мок-

рым снегом, пока сцепщики разбирали затор. В кармане Леон нёс сложенную вдвое расписку на зимнюю поставку и устное обещание, что первую партию привезут к концу недели. Обещание слышалось ему слабым. Угольный склад на набережной был пуст на две трети, и приказчик, выдавая бумагу, избегал смотреть ему в глаза.

С моста он увидел дым. Он поднимался из-за черепичных крыш, со стороны ботанического сада Ван Дерен, и был слишком тёмным для печных труб. Ветер нёс его низко, к реке, и в дыме мелькали рыжие искры. На набережной собралась небольшая толпа; мальчишка-разносчик кричал, что горят оранжереи, и размахивал пустой корзиной. Леон замедлил шаг, но не остановился. В приюте его ждали к обеду, а Морвэн не любил, когда персонал задерживался без причины. Дым над садом остался позади, за домами, и вскоре его закрыли крыши.

У ворот «Гранитного покоя» стоял пациент. Леон узнал его издалека по тому, как тот держал руки: пальцы сцеплены перед грудью, плечи подняты, будто он всё время ждал удара сверху. Эмиль Кесслер, тихий человек лет сорока, с лицом, обветренным до красных пятен. Он вышел на холод без шапки, в больничном халате поверх рубахи, и его трясло.

— Леон, — сказал он, когда санитар подошёл ближе. — Я слышал, сегодня будут готовить новую камеру.

— Кто тебе сказал?

— В столовой говорили. Доктор велел проветрить вторую палату и принести чистые простыни.

Леон снял перчатку и достал из кармана ключ от ворот. Металл холодил пальцы.

— Вторую палату проветривают каждую неделю.

— Сегодня не так, — Эмиль шагнул ближе, загораживая проход. — Я слышал, как в трубах гудит. Так гудело перед прошлой процедурой. Леон, я не хочу в новую камеру. Я не выдержу ещё раз.

Ветер толкнул незапертую створку ворот, и та скрипнула. Леон посмотрел на бледное лицо пациента, на его руки, на тонкую рубаху под халатом.

— Идём внутрь, — сказал он. — Здесь холодно.

— Ты обещаешь?

— Я останусь рядом, — сказал Леон. — Пойдём.

Он пропустил Эмиля вперёд и запер ворота. Двор был пуст; лужи подёрнулись тонким льдом, и по краям каменных плит лежал серый снег, смешанный с угольной пылью. У крыльца стояла бочка для дождевой воды, покрытая ледяной коркой. Леон проводил Эмиля до двери в палату и подождал, пока тот ляжет на койку, не снимая халата. Потом поправил одеяло и вышел.

На первом этаже Леон остановился у тумбочки Эмиля.

Леон спросил, можно ли записать имя близкого человека на случай перемещения. Эмиль сказал, что пока не хочет никого тревожить. Потом предложил назвать адрес мастерской, где работал прежде. Он произнёс улицу без запинки. Леон записал её в отдельный лист и положил под журнал: когда врач спрашивает, куда перевезти человека, нужен хотя бы один проверяемый адрес. Эмиль наблюдал за ним. Он сказал, что по вечерам особенно боится забыть собственный дом. Леон ответил, что улица останется на бумаге, даже если утром её придётся читать снова.

Из соседней палаты позвала фрау Гартманн. Она просила открыть окно, потому что воздух пах сладко. Готлиб уверял, что идёт из кухни: там варили фрукты для компота. Леон открыл окно и прислушался. На кухне кипела капуста. Запах был другой. Он провёл рукой вдоль трубы за кроватью. Стенка оказалась влажной. Попросил Готлиба взглянуть. Тот протёр металл и сказал, что на старых батареях бывает конденсат. Леон не стал спорить.

К вечеру женщина успокоилась. Она закрыла окно сама и сказала, что сквозняк хуже запаха. Леон внёс в журнал обе просьбы. Морвэн позже прочёл и подчеркнул только вторую: пациентка сама решила, что ей холодно. Леон увидел подчёркнутую строку утром. Он хотел

восстановить порядок событий — сначала запах, затем окно и только потом сквозняк. В официальной записи всё оставалось, однако выделение врача предлагало читателю иной вывод. Леон добавил время возле каждой просьбы, чтобы порядок нельзя было изменить одним взглядом.

На дворе стемнело. Уголь привезут лишь к концу недели. Готлиб закрыл заслонку и велел экономить. В палатах стало прохладнее. Эмиль попросил ещё одно одеяло, потом передумал, опасаясь, что ради него усилят топку. Леон принёс одеяло, не трогая вентиль. Пациент укрылся и впервые за день уснул до отбоя. Леон остался у двери, пока не убедился, что дыхание ровное. За стеной тихо стучала труба.

У лестницы Эмиль снова схватил Леона за рукав. Он успел одеться, но стоял босиком: так и вышел из палаты, пока санитар отвернулся. На ступенях за ним оставались мокрые следы.

— Мне во сне велели идти к трубе, — сказал он. — Я проснулся у двери. Раньше я знал, что сплю. Сейчас не знаю.

Леон отвёл его обратно и подождал, пока тот наденет башмаки. В палатном журнале напротив имени Кесслера стояла короткая запись: «Ночь спокойная». Чернила уже высохли. Он не стал исправлять чужую запись; на полях, возле времени обхода, отметил босые следы и просьбу пациента не оставлять его одного. Поставил свою подпись. Это была маленькая, почти бесполезная предосторожность, но теперь хотя бы одна строчка говорила о том, что произошло на самом деле.

За стеной трижды щёлкнула труба. Эмиль закрыл глаза. Леон дождался ещё трёх ударов. Они не повторились.

В коридоре пахло варёной капустой и мокрой шерстью. Из прачечной доносился стук валька. Леон прошёл мимо запертой двери в машинное помещение, где за стеной ровно гудела камера, и поднялся на второй этаж, в свою каморку. Комната была узкая, с одним окном во двор и железной кроватью у стены. На столе лежала книга, которую он не открывал уже неделю, и стояла жестяная кружка с остывшим чаем. Леон снял пальто, повесил его на гвоздь и достал из кармана расписку. Бумага была влажной по краям. Он положил её под книгу и сел на кровать, чтобы снять сапоги.

Леон снял сапоги и поставил их у кровати. Грязь с подошв осыпалась на пол, образуя темную кучку. Он потер переносицу, чувствуя, как за глазами нарастает тупая, давящая боль. Расписка на уголь лежала под книгой, но мысли были не об угле. Они были о том странном гудении, которое он слышал в трубах, и о взгляде Эмиля, полном животного ужаса перед процедурой.

Чтобы отогнать эти мысли, Леон открыл книгу. Это был старый учебник по анатомии. Он листал страницы, не читая, просто чтобы занять руки. Но тишина в каморке была обманчивой. Сквозь толщу пола и перекрытий до него доносился ровный, низкий гул камеры. И вместе с ним — другие звуки. Звуки, которые Леон старался не замечать последние три года.

Он закрыл глаза и снова увидел то, что происходило в лаборатории доктора Морвэна год назад. То, чему он стал свидетелем случайно, когда искал пропавшие ключи от кладовой.

***

Год назад. Ноябрь.

Дождь барабанил по крыше приюта, смывая с черепицы сажу и пыль. В здании было сыро, и запах плесени смешивался с запахом карболки. Леон спустился в подвал, надеясь найти запасные ключи в ящике старого стола, который стоял в углу котельной. Но стола там не было. Его перенесли в смежное помещение, которое раньше служило складом для дров, а теперь доктор Морвэн называл его «кабинетом экспериментальной терапии».

Дверь в кабинет была приоткрыта. Из щели тянуло странным запахом: горелой шерстью и чем-то сладковатым, напоминающим перезрелые фрукты. Леон хотел постучать, но услышал голос доктора. Тот говорил тихо, почти ласково.

— Не сопротивляйтесь, господин Фогель. Сопротивление лишь усиливает боль.

Леон заглянул в щель.

Комната была заставлена странными приборами. У стены стояла большая медная ванна, наполненная водой мутно-зеленого цвета. Рядом — деревянный стул с кожаными ремнями, похожий на тот, на котором привязывали буйных пациентов, но более сложный, с множеством металлических контактов. На столе лежали банки с электродами, катушки и стеклянные колбы с жидкостями разных оттенков.

На стуле сидел мужчина лет пятидесяти, худой, с впалыми щеками и безумными глазами. Это был Фогель, бывший бухгалтер, которого привезли сюда месяц назад с диагнозом «меланхолия и навязчивые страхи». Сейчас он был голым по пояс.

Морвэн стоял рядом, держа в руках два металлических стержня, соединенных проводами с большой батареей в углу комнаты. Доктор выглядел сосредоточенным. На его халате были пятна от каких-то реактивов.

— Вы говорите, что видите тени? — спросил Морвэн, приближая стержни к вискам пациента.

Фогель дернулся, но ремни держали крепко.

— Да… они везде. В углах. В зеркалах. Они шепчут. Они знают мои грехи.

— Грехи — это всего лишь химический дисбаланс в мозге, — спокойно произнес Морвэн. — Тени — это проекция вашего внутреннего хаоса. Мы упорядочим этот хаос. Мы сожжем лишнее электричество, которое накапливается в ваших нервах.

Он прикоснулся стержнями к вискам Фогеля.

Тело пациента выгнулось дугой. Изо рта вырвался хриплый крик, который оборвался на полуслове. Глаза Фогеля закатились, белки стали видны полностью. По коже пробежали судороги, мышцы напряглись так, что проступили вены.

Морвэн не убирал электроды. Он смотрел на секундомер, лежащий на столе.

— Десять секунд… пятнадцать… двадцать. Сопротивление падает. Хорошо.

Леон стоял в дверях, не в силах пошевелиться. Он видел, как из уголков глаз Фогеля потекли слезы, но лицо доктора оставалось бесстрастным. Морвэн изучал реакцию.

Наконец, он убрал стержни. Фогель обмяк в ремнях, тяжело дыша. Изо рта у него текла слюна.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Морвэн, делая пометку в журнале.

Фогель поднял голову. Его взгляд был пустым, расфокусированным.

— Тише… стало тише. Тени… они отошли.

— Отлично, — кивнул доктор. — Значит, метод работает. Но этого недостаточно. Нам нужно закрепить результат.

Морвэн подошел к медной ванне. Вода в ней слегка парила, хотя в комнате было холодно. Он добавил в воду какую-то жидкость из маленькой склянки. Вода изменила цвет, став темно-фиолетовой.

— Ложитесь, — приказал он.

Двое санитаров отвязали Фогеля и почти волоком потащили к ванне. Пациент не сопротивлялся. Его воля была сломлена током.

Когда Фогеля опустили в воду, он закричал снова.

— Холодно! Оно жжет! Оно входит внутрь!

— Терпите, — сказал Морвэн, наблюдая за пузырьками воздуха, поднимающимися со дна ванны. — Этот раствор вызовет временную амнезию. Вы забудете тени. Вы забудете страх. Вы станете чистым листом.

Фогель бился в воде, брызги летели во все стороны. Его кожа покраснела, потом побледнела. Глаза широко раскрылись, и в них появилось нечто новое. Абсолютная, звенящая пустота.

Морвэн подошел ближе и наклонился над ванной.

— Смотрите на меня, Фогель. Кто вы?

Пациент замер. Вода успокоилась. Он посмотрел на доктора мутными глазами.

— Я… я не помню.

— Ваше имя?

— Не… помню.

— Ваши грехи?

Фогель покачал головой. Вода стекала с его волос. Он выглядел спокойным. Слишком спокойным.

Морвэн улыбнулся. Это была редкая улыбка, холодная и довольная.

— Прекрасно. Вы исцелены.

Санитары вытащили Фогеля из ванны, завернули в грубое одеяло и увели в сторону лазарета. Леон видел, как пациент шел, шаркая ногами, и его голова бессильно качалась на шее. Он больше не боялся теней. Потому что он больше ничего не боялся. И ничего не любил.

Морвэн остался один в кабинете. Он вытер руки тряпкой и подошел к столу, где лежал журнал. Леон хотел уйти, чтобы его не заметили, но вдруг доктор поднял голову и посмотрел прямо в щель двери.

— Леон, — сказал он спокойно. — Войди. Я знаю, что ты там.

Леон замер. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно через стены. Он медленно открыл дверь и вошел.

— Доктор, я искал ключи…

— Ключи в ящике, слева, — перебил Морвэн. Он не выглядел сердитым. Наоборот, он казался возбужденным, как человек, который только что сделал великое открытие. — Ты видел процедуру?

Леон кивнул, не в силах произнести ни слова.

— Что ты думаешь?

— Он… он больше не человек, — тихо сказал Леон.

Морвэн рассмеялся. Смех был коротким и сухим.

— Человек — это набор привычек, страхов и воспоминаний, Леон. Большинство из них бесполезны. Они причиняют боль. Они мешают жить. Боль ушла. Страх ушел. Осталась только биологическая оболочка, которая функционирует эффективно.

— Но он не может работать. Он не может думать.

— Он может есть, спать и не беспокоить персонал, — возразил Морвэн. — Разве это не лучше, чем ночные крики и попытки самоубийства? Разве общество не хочет тишины?

Доктор подошел к окну, забранному решеткой. За окном шел дождь.

— Знаешь, Леон, я читал работы Шарко. Гипноз, истерия… Все это поверхностно. Они лечат симптомы. Я лечу причину. Причина человека — в его памяти. Она отравляет настоящее прошлым. Я нашел способ очистить этот яд.

Он повернулся к Леону. В его глазах горел фанатичный огонь.

— Но есть проблема. Обычные методы, как ты видел, слишком грубы. Они ломают личность целиком. Мне нужно что-то более точное. Что-то, что удалит только болезненные воспоминания, оставив навыки и базовые функции. Что-то, что будет действовать на уровне самой сути сознания.

Морвэн подошел к шкафу и достал оттуда странную вещь. Это был кусок темного, вязкого вещества, заключенный в стеклянную банку. Оно медленно пульсировало, хотя в банке не было никакого механизма.

— Я нашел это в старых трубах здания, — сказал доктор. — Когда мы перекладывали дымоход. Я провел анализы. Это не просто органика. Это конденсат. Конденсат человеческих эмоций.

Леон посмотрел на банку. Ему стало не по себе. Вещество внутри казалось живым.

— Эмоции имеют физическую форму, Леон, — продолжал Морвэн, глядя на банку с восхищением. — Страх, боль, тоска… они оседают в стенах, в трубах, в самом воздухе дома, если их достаточно много. Этот приют стоит здесь сто лет. Сколько людей умерло здесь в муках? Сколько слез было пролито? Вся эта энергия никуда не делась.

Он постучал пальцем по стеклу.

— Я думаю, что если использовать его правильно, можно вытянуть нужные воспоминания.

Леон почувствовал холодок вдоль позвоночника.

— Это опасно, доктор.

— Прогресс всегда требует жертв. Фогель — первая ступень. Следующий этап будет более изящным. Я построю камеру. Камеру, где пар, будет проникать в легкие и кровь пациента, воздействуя напрямую на лимбическую систему.

Он поставил банку обратно в шкаф и запер его на ключ.

— Никому не говори об этом, Леон. Ни санитарам, ни пациентам. Это наша тайна. Наша общая тайна. Если ты расскажешь, тебя уволят. И ты останешься без работы, без жилья, без средств к существованию. В этом городе нет места для тех, кто задает неудобные вопросы.

— Я понимаю, — тихо сказал Леон.

— Хорошо, — кивнул Морвэн. — Теперь иди. И принеси мне еще угля. Эксперименты требуют тепла.

***

Леон открыл глаза. В каморке было темно. Книга лежала на коленях, раскрытая на странице с изображением нервной системы. Рисунок человеческого мозга с его извилинами и нервами казался теперь зловещим.

Он вспомнил Фогеля. Через неделю после той процедуры бухгалтера нашли мертвым в своей палате. Он просто перестал дышать во сне. Никаких признаков насилия. Никакой борьбы. Просто остановилось сердце. Морвэн записал это как «внезапную сердечную недостаточность на фоне длительного стресса».

Год спустя после той ноябрьской процедуры Леон всё ещё помнил Фогеля с мокрыми волосами и одеялом на плечах. Он видел его ещё три раза до смерти. Первый раз бухгалтер сидел на скамье в коридоре и просил принести очки. Когда Леон принёс их, Фогель поблагодарил, но не надел: он не мог вспомнить, для чего нужна оправа. Он перекладывал её с ладони на ладонь, пока санитар не показал ему дужки.

Второй раз Фогель взял чужую расчёску. Хозяин расчёски рассердился и велел вернуть. Фогель извинился, положил вещь на пол и остался стоять над ней. Он искренне хотел выполнить просьбу. Разницу между «положить» и «вернуть» пришлось объяснять несколько раз. Позднее Морвэн назвал это временным нарушением связей после сильного воздействия. Он велел записать случай в рабочий журнал без фамилии пациента.

Третий раз Фогель стоял у окна во время дождя. По стеклу стекали потёки. Леон спросил, что он смотрит. Фогель ответил: «Я знал человека, которому нравился такой дождь». Он не смог назвать имени. Утром Леон нашёл его мёртвым.

После похорон бухгалтерского служащего доктор велел закрыть комнату для опытов на неделю и переоборудовал её. Ванну вынесли. Стул с ремнями передали в кладовую. На их месте появилась медная камера с трубами и плотной крышкой. Морвэн показал санитару чертёж: горячий пар должен был проходить через определённые каналы, а конденсат собираться

отдельно. К коже пациента больше не подводили электроды. Доктор говорил об улучшении метода так, как другой человек говорил бы о починке сломанного насоса.

Леон спросил, куда уходит то, что отделяется от пара. Морвэн указал на чёрную ёмкость в нижнем отсеке. Её нужно было опорожнять после каждой процедуры. Содержимое полагалось запечатывать в банках и хранить в подвале, пока доктор не определит его свойства. Леон запомнил это правило. Через месяц он увидел, как Готлиб выливает остатки в топку: банок больше не выдавали, а нижний отсек переполнялся. Готлиб сказал, что так распорядился Морвэн. На следующий день доктор подтвердил приказ и назвал осадок побочным продуктом, который при жаре теряет активность.

Леон не возразил. К тому времени он привык оценивать опасность по простым признакам. После топки в коридоре действительно не оставалось тёмных капель. Возле медной камеры пахло сладко, но запах быстро исчезал. Пациенты, выходившие из неё, переставали кричать. Персонал спал по ночам. Требовалось больше времени, чтобы увидеть цену этой тишины.

Впрочем, цена была видна тем, кто смотрел на отдельного человека. Старая фрау Гартманн раньше складывала платки в четыре части, каждый раз разглаживая пальцем край. После процедуры она делала то же движение пустыми руками, сидя на краю кровати. Платок лежал рядом. Если Леон подавал его, она благодарила, складывала и снова откладывала, словно ожидала следующего указания. Готлиб считал это улучшением: до камеры она прятала платки под матрасом и обвиняла соседок в краже.

Врач не запретил Леону вести наблюдения. Он только попросил различать то, что было до лечения, и то, что санитар увидел после. Леон попробовал. В тетради получились короткие пары фраз. «Боится воровства» и «не просит вернуть своё». «Ночью зовёт дочь» и «знает, что дочь существует, но не зовёт». В столбце «после» было меньше работы для персонала. Всякий раз, когда Морвэн показывал ему цифры, Леон вспоминал об этом столбце и не находил слов, чтобы объяснить, почему цифр недостаточно.

Однажды в приют приехала женщина за братом. Он обещал написать ей после лечения и не написал. Морвэн разрешил свидание на пятнадцать минут. Леон провёл её в палату и остался у двери. Мужчина узнал сестру по имени, сказал, где они жили в детстве, перечислил тех, кого потеряли. Она плакала и держала его за руку. Он спросил, зачем она плачет, а когда женщина объяснила, что скучала, вежливо попросил не сжимать ему пальцы. После встречи она сказала Леону, что брат живой и выглядит здоровым. На лестнице ей пришлось сесть. Она долго поправляла ворот пальто и не могла найти пуговицу, хотя та была прямо под рукой.

Леон не рассказал об этом Морвэну. Врач спросил, довольна ли родственница. Он ответил, что она не жаловалась. Потом отнёс в каморку свежие простыни и обнаружил на верхней красную нить от её пальто. Она осталась там до стирки. Почему он помнил нить через год, а не лицо женщины, Леон объяснить не мог.

На складе у набережной Леон ещё раз спросил о сроках поставки. Приказчик показал ему книгу: несколько приютов ждали уголь раньше «Гранитного покоя». Леон предложил привезти хотя бы малую партию. Приказчик обещал попробовать, но не ставил дату. У ворот складов ветер нёс пыль. Леон вытер лицо рукавом и пошёл обратно. По дороге он видел, как в обычных домах топят печи и выпускают дым в небо. Тепло там уходило наружу. Морвэн называл такой расход бессмысленным.

В приюте отсутствие угля меняло отношения людей. Пациенты спорили о том, кому достанется место ближе к трубе. Агнеса развешивала мокрое бельё плотнее, и оно сохло дольше. Готлиб ходил с ведомостью и считал ведра. Морвэн просил ускорить ремонт короба, чтобы экономия начала действовать раньше. Каждое решение выглядело разумным, если смотреть только на следующий день. Леон не видел общей картины, пока не заметил влагу у нового шва.

Он вспомнил, как Фогель однажды попросил его назвать число, которое только что прочёл на листе. Бухгалтер умел считать и после процедуры. Мог сложить столбцы без ошибки. Но, дойдя до итоговой суммы, спрашивал, кому она принадлежит и зачем её выводят. Навык оставался, назначение исчезло. Теперь Леон смотрел на расчёт экономии Морвэна и думал о том же разрыве. Доктор умел вычислять долю возвращённого пара и стоимость термостойкой смеси. В графе последствий для пациентов пустовали строки, которые нельзя было перевести в деньги.

Леон не ненавидел Морвэна. Он видел, как врач ночью осматривает больного с жаром, сам приносит ему воду, спорит с городским чиновником о месте для тех, кого другие учреждения отказались принимать. Именно это делало его выбор опасным. Морвэн мог принести пользу и в тот же день запустить камеру, которая отнимала у человека часть жизни. Когда Леон пытался говорить об этом с Готлибом, тот указывал на выспавшихся пациентов. Они оба видели правду, лежавшую в разных палатах.

Поздним вечером доктор вышел из кабинета с расчётами. На лестнице он остановился возле окна и долго смотрел на снег. Леон нёс пустую корзину. Морвэн спросил, сколько пациентов сегодня жаловались на холод. Леон назвал число. Доктор пообещал, что после установки короба жалоб станет меньше. Леон спросил, сколько процедур понадобится для окупаемости. Морвэн посмотрел на него внимательно и сказал, что лечение не измеряют так. Леон ничего не ответил. Он хотел бы верить, что врач сам услышал сходство между двумя ведомостями.

Но Леон знал правду. Фогель не умер от стресса. Его тело просто забыло, зачем ему нужно дышать.

Леон встал и подошел к окну. Во дворе было тихо. Снег продолжал идти, засыпая следы.

Внизу хлопнула дверь. Потом послышались шаги по лестнице, тяжёлые и быстрые. В дверь каморки постучали.

— Леон, ты вернулся? — Голос принадлежал старшему санитару, Готлибу. — Доктор спрашивал. Спускайся в котельную.

Леон вздрогнул. Видение исчезло, но ощущение липкого ужаса осталось. Он быстро спрятал книгу, надел сапоги и вышел в коридор. Лицо его было непроницаемым.

Готлиб ждал на площадке, держа в руке керосиновую лампу с закопчённым стеклом.

— Уголь привезли? — спросил он.

— Обещали к концу недели.

— Плохо. У нас осталось на четыре дня, если топить в полную силу. Доктор велел экономить. Весь пар идёт на камеру и на нижний контур, а в палатах с утра прохладно. Пациенты жалуются.

Они спустились в подвал. Здесь было теплее, чем наверху, и пахло сырым кирпичом и гарью. Старая топка стояла в дальнем конце коридора, за чугунной дверцей, и от неё шло ровное красное свечение. Рядом лежала небольшая куча угля, наполовину присыпанная золой. Леон присел на корточки и осмотрел заслонку. На металле изнутри проступали тёмные пятна, похожие на разводы, и он провёл по ним пальцем. Пятна остались на коже — жирные, чуть тёплые.

— Что там? — спросил Готлиб.

— Ничего. Сажа.

Леон вытер руку о тряпку и прошёл дальше по коридору. У стены, где старый дымоход соединялся с новой кладкой, он остановился. Кирпичи здесь были светлее остальных, ещё не покрытые копотью. Шов между старой и новой кладкой шёл неровно, и в одном месте раствор выкрошился, оставив узкую щель. Из щели тянуло тёплым воздухом. Леон поднёс ладонь и почувствовал, как тепло пульсирует в такт работе камеры за стеной.

— Это когда перекладывали? — спросил он.

— На прошлой неделе, — сказал Готлиб. — Доктор велел вывести отвод через теплообменник, чтобы не топить зазря. Экономия. Он говорит, что теперь пар возвращается в систему и угля нужно вдвое меньше.

— А старый дымоход?

— Заглушили. Вон, видишь заслонку?

Леон посмотрел туда, куда указывал Готлиб. В глубине коридора, за поворотом, виднелась чугунная плита, перекрывавшая старый канал. Плита была прикручена болтами и обмазана глиной. Возле неё на полу лежал молоток и стояла банка с засохшей замазкой. Работа выглядела свежей.

— Кто делал?

— Печник приходил. Доктор сам с ним ходил, показывал, где резать.

Леон ещё раз потрогал тёплый шов. Из щели пахло чем-то сладковатым, похожим на перегретое варенье. Запах был слабый и вскоре пропал, сменившись обычным запахом сырости.

— Ладно, — сказал он. — Пойду проверю палаты.

Он поднялся наверх и прошёл по коридору мимо палат. В первой комнате трое пациентов сидели на койках; один читал вслух газету недельной давности, другой смотрел в окно, третий спал, отвернувшись к стене. Леон остановился у двери и прислушался к дыханию спящего. Дыхание было ровным, глубоким. Он постоял ещё немного, потом двинулся дальше.

В палате Эмиля было тихо. Пациент лежал на койке, укрытый одеялом до подбородка, и смотрел в потолок. Увидев Леона, он повернул голову.

— Ты правда останешься? — спросил он.

— Я здесь, — сказал Леон. — Отдыхай.

Он прикрыл дверь и пошёл к лестнице. Внизу, в вестибюле, часы пробили два. До вечернего обхода оставалось несколько часов, и Леон решил проверить, заперты ли окна в холодной пристройке. По дороге он думал о дыме над садом Ван Дерен и о том, что скажет Морвэну про уголь. Разговор предстоял неприятный, но необходимым он его не считал. Доктор умел объяснять нехватку так, что виноватым оказывался тот, кто спрашивал.

В пристройке было холодно. Леон прошёл вдоль стены, проверяя задвижки, и уже у выхода услышал, как в глубине здания, за стеной, что-то стукнуло. Он остановился и прислушался. Стук повторился, размеренный, с паузами, и доносился из старого дымохода. Леон постоял ещё немного, потом вернулся в коридор и закрыл за собой дверь.

Перед приездом попечителей Готлиб велел почистить коридор у котельной. Леон взял щётку и ведро. На полу возле старого дымохода лежали осколки глины, хотя печник закончил работу несколько дней назад. Готлиб сказал, что раствор сохнет и осыпается. Леон собрал осколки отдельно. Они пахли сладко только после того, как их согрели в ладони. Он показал один Готлибу. Старший санитар повертел его и положил обратно в ведро.

— Доктор скажет, что надо замазать, — сказал он.

— Тогда пусть сначала увидит.

Готлиб не ответил. Вечером он принёс из сарая свежую глину и поставил у стены, но к шву не прикоснулся. Это было его способом признать, что замазка не держится. Леон записал, где оставлен мешок, и пошёл проверять палаты. За ночь никто его не использовал. К утру возле шва лежали новые крупинки.

Среди пациентов был человек, который каждое утро просил показать календарь. Он боялся пропустить день визита дочери. Леон принёс ему лист и отметил дату карандашом. Мужчина пересчитал дни до воскресенья и успокоился. По дороге в следующую палату Леон услышал, как тот вслух повторяет число, проверяя собственную память. Эти простые проверки встречались повсюду: Каспар прятал строки, Эмиль носил табакерку, другие люди держали

возле кровати имена и даты. Доктор видел в них навязчивости. Леон всё чаще думал, что пациентам приходилось самим строить опоры там, где лечение ослабляло связь с прожитым.

К вечеру гарь с оранжерей перестала доноситься до приюта. Из сада больше не поднимался чёрный дым. На рынке говорили о причинах пожара; кто-то винил сторожа, кто-то лампу, забытую среди растений. Леон не знал правды и не пытался связывать огонь с тем, что происходило в доме. Он слышал, как легко люди объясняют событие, которого не видели, и поэтому держался за вещи, которые мог проверить: влажный шов, крошки раствора, часы топки. У дверей в машинное помещение они пахли сильнее любой городской гари.

Попечители приехали к шести. Их было двое: суконный фабрикант Штольц, грузный человек с одышкой, и фрау Биркен, вдова нотариуса, тонкая, в чёрном пальто с высоким воротником. Морвэн встретил их на пороге, застёгнутый на все пуговицы, с папкой под мышкой. Он выглядел спокойным и слегка усталым, как человек, который всю ночь работал и теперь готов показать результат.

— Прошу вас, — сказал он. — Сначала вниз, к установке.

Леон шёл позади. В подвале было теплее, чем наверху, и попечители сразу расстегнули пальто. Морвэн подвёл их к теплообменному коробу, привинченному к стене между старой топкой и новой кладкой. Короб был выкрашен в тот же тёмно-зелёный цвет, что и трубы, и почти сливался со стеной.

— Вот здесь, — сказал доктор, — отработанный пар проходит через теплообменник и возвращается в систему. Раньше мы выпускали его в дымоход, а теперь используем повторно. Экономия угля достигает трети, а при полной загрузке — почти половины.

Штольц наклонился и потрогал короб ладонью. Потом посмотрел на заслонку старого дымохода, заглушённую чугунной плитой.

— А это зачем? — спросил он.

— Старый канал мы перекрыли. Он вёл напрямую в трубу, без возврата. Теперь весь поток идёт через теплообменник.

— И пар не прорывается?

— Мы проверили. Швы герметичны, давление держится.

Леон стоял у стены и смотрел на щель в кладке. Она была замазана свежим раствором. Но он не помнил, чтобы кто-то замазывал её ночью. Возможно, Готлиб приходил. Возможно, печник вернулся. Леон не стал спрашивать.

Фрау Биркен обошла короб кругом и остановилась у топки. От чугунной дверцы шло ровное тепло.

— Доктор, — сказала она, — вы уверены, что это безопасно для пациентов? В прошлый раз вы говорили, что камера изолирована.

— Камера изолирована, — ответил Морвэн. — Речь идёт о технической стороне. Пар, который выходит из камеры, проходит очистку и возвращается в отопительный контур. Пациенты с ним не контактируют.

— А запах? — спросил Штольц. — В прошлый раз в коридоре пахло чем-то сладким.

— Ингаляционная смесь. Она содержит эвкалипт и камфору. Запах безвреден.

Штольц кивнул. Фрау Биркен ещё немного постояла у топки, потом повернулась к доктору.

— Когда вы сможете показать результат? — спросила она. — Попечительский совет ждёт отчёта. Зима будет тяжёлой, и нам нужно знать, стоит ли продолжать финансирование.

Морвэн открыл папку и достал лист с записями.

— Через три дня, — сказал он. — Я подготовлю одного пациента. Простой случай, без осложнений. Вы увидите, как он войдёт в камеру и как выйдет. Разница будет очевидной.

— Одного пациента достаточно? — спросил Штольц.

— Для демонстрации — да. Полную статистику я представлю к концу месяца.

Попечители переглянулись. Штольц пожал плечами, фрау Биркен кивнула. Они поднялись наверх, и Леон проводил их до ворот. У крыльца фрау Биркен обернулась.

— Санитар, — сказала она, — вы здесь давно работаете?

— Третий год.

— И что вы думаете о методе?

Леон посмотрел на её лицо, на плотно сжатые губы, на перчатки, которые она держала в руке.

— Пациенты стали спокойнее, — сказал он. — Раньше в палатах было шумно. Теперь по ночам тихо.

Фрау Биркен кивнула и вышла за ворота. Штольц последовал за ней, тяжело ступая по мокрым плитам.

Морвэн ждал Леона в вестибюле.

— Сегодня, — сказал он. — Подготовь Кесслера. Только его. Никаких других пациентов в коридоре.

— Он боится, — сказал Леон.

— Все боятся. Это нормально. Ты поможешь ему лечь и останешься у двери. Когда камера начнёт работать, он успокоится. Ты сам увидишь.

Леон хотел сказать про стук в дымоходе, про тёплую щель в кладке, про то, что Эмиль слышал гудение в трубах. Он открыл рот и закрыл. Морвэн уже шёл к лестнице, и его шаги гулко отдавались в пустом вестибюле.

Вечером Леон нашёл Эмиля в палате с открытой табакеркой. Пациент говорил, что хочет оставить её здесь на время процедуры: металл будет холодить пальцы, а руки должны лежать спокойно. Леон предложил положить вещь под подушку, как обычно, и запомнить место. Эмиль попросил повторить: под подушкой, справа. Он боялся, что после камеры будет искать её там, где она стояла утром, и решит, что кто-то украл. Эта просьба показалась Леону разумнее любого наставления о спокойствии.

Они дошли до лестницы вместе. На площадке Эмиль остановился у окна. Снаружи по мокрому снегу прошёл человек с ящиком инструментов. Леон узнал печника. Тот направлялся к заднему входу, обходя гостей. Эмиль спросил, собираются ли чинить камеру. Леон ответил, что, вероятно, осмотрят отопление. По лицу пациента было видно: подробности ему нужны, но он боится их услышать. Леон мог отменить процедуру только приказом доктора. Он остался рядом и смотрел, как печник исчезает за углом.

После этого Морвэн позвал Эмиля. У двери машинного помещения Леон заметил на полу свежую полоску замазки. Её нанесли на шов перед показом, чтобы влажное место не бросалось в глаза. Он знал, что нельзя доказать опасность одним взглядом на пол. Врач стоял у пульта и ждал. Леон помог пациенту лечь. Пока закрывалась дверца, Эмиль спросил ещё раз, точно ли табакерка осталась на месте. Леон ответил «точно» и запомнил, как голос пациента дрогнул на последнем слове.

Три минуты спустя Эмиль не спрашивал ни о чём. Его плечи опустились, дыхание стало ровным. Леон наблюдал за манометром вместе с Морвэном. Стрелка дрожала возле черты, которую врач считал рабочей. У шва на полу потемнела новая замазка. Доктор видел показание прибора; Леон видел обе вещи сразу. Когда процедура закончилась, он помог Эмилю выйти и не сказал об этом. Нужно было сначала отвести пациента в палату.

Леон остался в вестибюле один. Через стекло двери он увидел, как за воротами остановилась фрау Биркен. Она смотрела на здание, хотя извозчик уже открыл для неё дверцу. Над крышей сада Ван Дерен всё ещё висела полоса дыма. Леон подумал, что люди на другом конце города сейчас будут считать ущерб, искать виновного, выносить из оранжерей уцелевшие растения. Здесь тоже следовало бы сделать что-нибудь столь же простое: открыть камеру, пере-

крыть трубу, вывести пациентов. Но у каждого действия был человек, который мог его запретить.

Вечером он принёс Эмилю чистое бельё и увидел под кроватью сложенную вдвое простыню. Пациент положил её так, чтобы не касаться босыми ногами пола, если снова проснётся у двери. Леон ничего не сказал. Он убрал простыню обратно на койку и поставил рядом башмаки носками к выходу. В следующий раз Эмиль хотя бы не пойдёт по ледяному коридору босиком.

Когда Леон пришёл в палату Эмиля, тот сидел на койке, одетый в чистое белье, и держал в руках небольшую жестяную табакерку с потёртой крышкой. Увидев Леона, он быстро спрятал её под подушку.

— Пора? — спросил он.

— Пора.

Эмиль встал. Его руки дрожали, и он спрятал их в карманы халата.

— Ты обещал остаться, — сказал он.

— Я буду у двери.

Они прошли по коридору к машинному помещению. Дверь была открыта, и внутри уже гудел пар. Камера стояла в центре комнаты, круглая, обитая медными листами, с небольшим иллюминатором в верхней части. От неё шли две трубы: одна к топке, другая к теплообменнику. Морвэн ждал у пульта, держа в руке журнал.

— Ложитесь, Кесслер, — сказал он. — Санитар поможет.

Эмиль подошёл к камере и остановился. Леон взял его под локоть.

— Я рядом, — сказал он.

Эмиль лёг на скамью внутри камеры. Леон поправил подушку под его головой и вышел. Морвэн закрыл дверцу и повернул вентиль. Пар пошёл в камеру с тихим шипением. Через иллюминатор было видно, как Эмиль сначала напрягся, потом его плечи опустились. Дыхание стало ровным. Он закрыл глаза.

Морвэн смотрел на манометр и делал пометки в журнале.

— Хорошо, — сказал он через несколько минут. — Давление стабильное. Ещё немного.

Леон стоял у двери и смотрел на иллюминатор. Эмиль лежал неподвижно. Его лицо разгладилось, морщины вокруг рта стали мягче. Леон почувствовал, как у него самого отпускает в груди. Он не заметил, как сжал кулаки, и теперь разжал их, чувствуя, как кровь возвращается к пальцам.

Когда Морвэн перекрыл пар, Эмиль открыл глаза. Он сел на скамье и посмотрел вокруг, будто видел комнату впервые. Леон открыл дверцу и помог ему выйти. Эмиль стоял твёрдо, не шатался. Он дышал глубоко и ровно.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Морвэн.

— Спокойно, — сказал Эмиль. — Очень спокойно.

Он сказал это просто, без удивления. Голос у него был тихий и ровный, как у человека, который только что хорошо выспался. Леон проводил его обратно в палату. По дороге Эмиль не сказал ни слова, и его руки больше не дрожали.

В палате он сел на койку и посмотрел на подушку.

— Там была вещь, — сказал он.

Леон достал из-под подушки жестяную табакерку.

— Эта?

Эмиль взял её, повертел в руках и открыл крышку. Внутри лежала засушенная веточка вереска и сложенная вчетверо бумажка. Эмиль посмотрел на веточку, потом на Леона.

— Странно, — сказал он. — Я помню, что она мне нравилась. А почему, не помню.

Он закрыл крышку и положил табакерку на тумбочку. Потом лёг и отвернулся к стене. Через минуту он уже спал.

***

Эмиль Кесслер знал этот запах ещё до того, как научился называть его словом.

Эмиль проснулся после полудня. Сначала он решил, что проспал всю ночь: в комнате было тускло, а его рубашка лежала у изножья, как обычно утром. Потом увидел на подоконнике табакерку. Крышка была открыта. Вереск вынули и положили на бумагу, чтобы он высох после влажных пальцев.

Он вспомнил, что до камеры несколько раз просил Леона остаться рядом. Саму процедуру он вспоминал ровно. Металл, шипение, давление в ушах. Страх при этом казался ему рассказом другого человека. Он мог перечислить все причины, по которым собирался сопротивляться, но не понимал, отчего они казались столь важными.

На бумажке под вереском стояли три слова, написанные женщиной. Почерк был лёгкий, с длинной петлёй у буквы «д». Эмиль знал, чья это рука. Он произнёс её имя вслух. Воспоминание о знакомстве пришло целиком: деревянная лавка на вокзале, мокрые перчатки, билет, который она чуть не потеряла. Он помнил разговор и даже цвет платья. Когда попытался вспомнить, что чувствовал, ожидая её на той лавке, возникла пустота. Он снова прочёл записку. Слова имели значение, но не вес.

Другой пациент попросил его закрыть окно. Эмиль сделал это и вернулся к койке. Не прошло минуты, как тот же человек пожаловался на духоту. Раньше Эмиль рассердился бы. Сейчас он открыл окно, не произнеся ни слова. Сосед поблагодарил. Эмиль заметил, что мог бы провести так весь день, открывая и закрывая створку, пока кто-нибудь не скажет, какое решение правильное.

К вечеру он услышал в трубе слабый щелчок. Ему показалось, что кто-то кашлянул в соседней комнате. Он встал и пошёл к стене. На железе дрожала капля. Прежде чем он успел её тронуть, вошёл Леон. Санитар попросил вернуться в постель и вытер каплю тряпкой. Эмиль подчинился. По дороге он понял, что уже почти поднял руку, хотя не собирался подходить к трубе. Это наблюдение было неприятным. Но неприятность не задержалась. Через несколько минут он снова смотрел на окно и думал о том, как ровно падает снег.

Ночью ему снился поезд. Он сидел в пустом вагоне с табакеркой в руках. За стеклом стояла женщина. Она открывала рот, но он не слышал слов. Когда поезд тронулся, Эмиль хотел вскочить. Ноги не послушались; он посмотрел на них с любопытством и остался сидеть. Проснувшись, он не почувствовал тоски. Сон казался складной картинкой, которую можно убрать в ящик.

Он попытался записать имя женщины на внутренней стороне крышки табакерки. Чернила легли неровно. Рядом написал дату, которую помнил точно. Затем положил вещь под подушку, как до процедуры. Рука сама нашла привычное место. Эмиль лежал и прислушивался к движению воздуха в стене. Ему хотелось узнать, сколько его движений останется прежними, если причина каждого исчезнет.

В детстве, когда он был слишком мал, чтобы дотянуться до верхней полки шкафа, мир делился на то, что пахло матерью, и то, что пахло отцом. Мать пахла мылом, крахмалом и тёплым хлебом. Отец — табаком, машинным маслом и сырой землёй. Но был ещё один запах, который не принадлежал никому из них. Он жил в деревянной коробке с крышкой, обитой бархатом, которую отец доставал только по воскресеньям, после церкви, когда мать уходила к соседке, а дом погружался в тягучую, сонную тишину.

Отец садился у окна, открывал коробку, и комната наполнялась ароматом, от которого у Эмиля сладко ныло под ложечкой. Это был запах сухого вереска, смешанный с чем-то горьковатым, пряным, как кора старого дерева, и неуловимо сладким, как мёд, который уже начал бродить. Отец никогда не курил этот табак. Он просто нюхал его, закрыв глаза, и его лицо, обычно строгое и замкнутое, становилось мягким, почти чужим. Эмиль сидел рядом на полу и смотрел, как солнечные пылинки танцуют в луче света, падающем на колени отца, и вдыхал этот запах вместе с ним. Они молчали. Слова были не нужны. В этом молчании, пропитанном

ароматом вереска, заключалось всё, что отец не мог сказать вслух: и любовь, и усталость, и какая-то давняя, невыплаканная печаль, которая передавалась сыну через дыхание.

Потом отец умер. Коробка исчезла. Мать больше не упоминала о ней, словно её никогда не существовало. Эмиль вырос, выучился на переплётчика, женился, овдовел, и жизнь стала чередой дней, похожих один на другой, как страницы в книге. Но запах остался. Он жил в памяти, в каком-то глубоком, недоступном рассудку слое, и иногда, в самые тёмные часы бессонницы, когда тревога сжимала горло так, что невозможно было вдохнуть, Эмиль вспоминал его. И тогда ему казалось, что если бы он мог снова почувствовать этот запах, то всё бы встало на свои места. Тревога отступила бы. Мир снова стал бы безопасным, как в те воскресные послеобеденные часы.

Когда тоска стала невыносимой, когда ночи превратились в бесконечное падение в чёрную яму, а дни — в серую плёнку, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть, Эмиль нашёл способ вернуть этот запах. Не саму коробку, не отца, не то воскресенье. Только эссенцию. Ощущение безопасности.

Он купил табакерку на рынке у старьёвщика. Жестяную, потёртую, с выцветшей росписью на крышке. Она ничем не напоминала ту, бархатную, но форма была правильной: круглая, плоская, умещающаяся в ладони. А внутрь он положил не табак. Он собрал веточки вереска на пустоши за городом, в конце августа, когда цветы уже начали буреть и терять цвет, но ещё хранили в себе солнце. Высушил их в тени, на чердаке, перебирая пальцами, пока они не стали ломкими и шершавыми. Смешал с каплей мёда и щепоткой корицы.

Первые месяцы это помогало. Стоило открыть крышку, вдохнуть, и стены комнаты переставали давить. Сердцебиение замедлялось. Руки переставали дрожать. Он мог лечь, закрыть глаза и на несколько минут вернуться туда, в солнечный луч, в молчание, в безопасность. Табакерка стала якорем. Единственной точкой опоры в мире, который рассыпался на куски.

Но потом якорь начал ржаветь.

Сначала запах стал слабее. Вереск высыхал, терял силу, превращался в простую сухую траву. Эмиль добавлял новые веточки, менял пропорции, но магия ускользала. Безопасность больше не приходила по первому зову. Приходилось вдыхать глубже, дольше, сосредоточеннее, и даже тогда облегчение было неполным, как эхо, которое вот-вот затихнет. А потом пришла тревога нового качества. Она жила внутри. Она шептала, что запах — это ложь. Что отец давно мёртв и не чувствует ничего. Что воскресенье было обычным днём, а молчание — не близостью. Что он, Эмиль, цепляется за призрак, потому что боится признать: никакого якоря нет. Есть только пустота, и он падает в неё, хватаясь за воздух.

Табакерка из лекарства превратилась в напоминание о болезни. Каждый раз, открывая её, он чувствовал стыд. Стыд за то, что нуждается в этой жалкой имитации. За то, что не может быть сильным, как отец. За то, что память подводит его, заменяя живое тепло мёртвой смесью трав и специй. Но выбросить он не мог. Выбросить означало признать поражение. Означало остаться совсем одному, без последней нити, связывающей его с тем, кем он был до того, как мир раскололся.

И тогда он пришёл в «Гранитный покой».

Не потому что верил в лечение. Он слышал слухи, видел пустые глаза тех, кто выходил оттуда, и знал: что-то там отнимают. Но он также знал, что больше не может выносить эту двойственность. Быть человеком, который помнит запах вереска, и одновременно знать, что этот запах — иллюзия. Жить в двух мирах сразу: в том, где есть безопасность, и в том, где её нет. Это разрывало его. Он хотел одного. Либо забыть, что запах когда-то значил что-то. Либо снова поверить в него. Середины не было. Середина была смертью.

Доктор Морвэн принял его спокойно, без лишних вопросов. Записал симптомы, кивнул, назначил дату. Эмиль не спрашивал, как работает процедура. Ему было всё равно. Он принёс

табакерку с собой, спрятал под подушку, как талисман. Как последнее доказательство того, что он ещё существует.

Ночь перед процедурой он не спал. Лежал в темноте, сжимая в руке холодный металл крышки, и вдыхал. Запах был слабым, почти призрачным. Вереск, мёд, корица. И под ними — нечто новое. Нечто металлическое, стерильное, как запах самой камеры, которую он ещё не видел, но уже чувствовал кожей. Будто будущее просачивалось в прошлое, отравляя его.

Утром его повели вниз. Камера оказалась меньше, чем он представлял. Медные стены блестели в свете ламп. Скамья была узкой, жёсткой. Санитар Леон поправил подушку под его головой, и Эмиль заметил, что руки у санитара трясутся. Или ему показалось. Пар пошёл с тихим шипением, и мир сузился до точки.

Сначала было тепло. Потом тепло стало давлением. Оно входило через кожу, через лёгкие, через поры, и вытесняло всё, что было внутри. Не больно. Хуже. Как будто кто-то невидимый перебирал содержимое его души, как вещи в чемодане, и выбрасывал ненужное. Воспоминания проплывали мимо, лишённые веса: лицо матери, звук дождя по крыше, вкус хлеба, смех жены. Они были фактами. Просто фактами. Как записи в бухгалтерской книге. Он видел их, но не чувствовал. Они не касались его.

А потом пришёл запах.

Вереск. Мёд. Корица. Горечь коры. Солнечный луч на коленях отца. Молчание. Безопасность.

Это было не как забвение. Забвение — это когда вещь исчезает, оставляя пустоту. Это было иначе. Вещь оставалась. Факт оставался. Но из него вынули суть. Как из ореха вынимают ядро, оставляя скорлупу целой. Он знал, что вереск пахнет вереском. Знал, что отец любил этот запах. Знал, что сам искал в нём утешение. Но знание было сухим, мёртвым. Как слово в словаре, значение которого ты помнишь, но не можешь вспомнить, каково это — произнести его с чувством.

Безопасность стала понятием. Не ощущением. Понятием, которое можно определить, объяснить, записать. Но нельзя пережить.

Когда пар стих и дверца открылась, Эмиль сел на скамье. Тело было лёгким. Голова ясной. Тревоги не было. Совсем. Ни той, старой, ни той, новой. Никакой. Только ровная, безмятежная тишина.

Санитар Леон проводил его в палату. По дороге Эмиль смотрел на окна, на снег, на стены, и всё было просто вещами. Окно. Снег. Стена. Без оттенков. Без смыслов. Без боли.

В палате он сел на койку. Подушка была мягкой. Одеяло тёплым. Он знал, что это хорошо. Знал, что должен чувствовать благодарность или облегчение. Но не чувствовал ничего. Просто констатировал: подушка мягкая. Одеяло тёплое.

Леон стоял у двери. Ждал. Эмиль посмотрел под подушку. Пальцы нащупали знакомую форму. Жестяная табакерка. Потёртая крышка. Выцветшая роспись.

Он достал её. Положил на ладонь. Металл был прохладным. Вес правильным. Форма узнаваемой.

Он открыл крышку.

Внутри лежала засушенная веточка вереска. Бурая, ломкая. Рядом — сложенная бумажка. Он знал, что это его вещь. Знал, что прятал её. Знал, что она была важна.

Но зачем?

Он посмотрел на веточку. Попытался вызвать ощущение. То самое, сладкое нытьё под ложечкой. То чувство, когда мир перестаёт быть враждебным. Попытался вспомнить отца. Солнечный луч. Молчание.

Ничего.

Факт: это вереск. Факт: это моя табакерка. Факт: я хранил её, потому что она была связана с чем-то важным.

Но связь оборвалась. Память о значении без самого значения.

Накануне процедуры Эмиль долго держал табакерку в руке. Он мог отказаться от камеры, но Морвэн говорил, что без лечения навязчивые страхи станут сильнее. В предыдущие недели он по нескольку раз проверял, закрыта ли дверь, и перестал спать. Ему хотелось снова выходить на улицу и разговаривать с людьми, не ожидая от каждого звука угрозы. Перед поступлением он пообещал женщине, которая дала ему вереск, написать, как только станет лучше. Не помнил, написал ли хоть раз.

В приюте страх приобрёл точное расписание. Утром он боялся следующей ночи, вечером — двери машинного помещения, ночью — того, что услышит из стены. Если бы кто-нибудь предложил обменять этот страх на несколько воспоминаний, он, возможно, согласился бы. Но никто не называл цену. Доктор говорил о спокойствии, а пациенты, выходившие из камеры, становились людьми, которых трудно было спросить, что они потеряли.

Эмиль попробовал составить список того, что хотел бы сохранить. Имя, адрес, умение работать руками. Лицо женщины на вокзале. Запах сухого вереска, когда крышка табакерки открыта. Он написал последнее и долго смотрел на бумагу. Больше всего он боялся потерять не отдельный факт, а то, что делало его важным. Это невозможно было поставить в графу под фамилией, где врач потом отметил бы «сохранено».

Когда Леон пришёл за ним, Эмиль спрятал лист в наволочку. Он собирался достать его после процедуры и сверить ответы. По дороге к камере коридор казался длиннее обычного. На стене висели часы; минутная стрелка сдвинулась всего на одно деление, пока они дошли до двери. Эмиль спросил, действительно ли Леон останется рядом. Он не требовал обещания защитить от машины. Он хотел, чтобы хоть один человек помнил его до того, как закроют медную крышку.

***

Леон постоял у двери, глядя на его спину. В коридоре было тихо. Из машинного помещения доносилось ровное гудение остывающей камеры. Он вернулся туда, чтобы помочь Морвэну с уборкой, но доктор уже закрывал журнал.

— Видишь? — сказал Морвэн. — Никаких осложнений. Завтра он будет таким же спокойным.

— Он не помнит, зачем хранил эту вещь.

— Он помнит факты. Забыл эмоциональную привязку. Это и есть цель лечения. Освободить человека от груза, который ему не нужен.

Леон посмотрел на камеру. Внутри, на скамье, осталась влажная лужица. Он взял тряпку и начал вытирать.

— Оставь до утра, — сказал Морвэн. — Пойдём ужинать.

Он вышел. Леон ещё немного постоял в машинном помещении. Потом вытер скамью, собрал влагу в ведро и вылил его в топку. Пламя вспыхнуло и погасло. В коридоре было тихо, и только из старого дымохода, за глухой чугунной плитой, доносился едва слышный стук. Размеренный, с паузами. Леон прислушался, но стук вскоре прекратился.

Он закрыл дверь машинного помещения и пошёл наверх.

Утром Леон взял ведро, тряпку и щётку и спустился в машинное помещение. Морвэн ещё не приходил; в коридоре было холодно, и изо рта шёл пар. Леон отпер дверь и поставил ведро на пол. В камере за ночь осел конденсат: на медных стенках блестели капли, а на скамье расплылось влажное пятно размером с ладонь. Пахло сладковатым, как вчера, но слабее.

Леон вытер медь по часовой стрелке, как учил Готлиб. Под скамьёй скопилось больше влаги, чем на стенах. Он подставил маленькую чашку и подождал. Капли стекали медленно, с задержкой, будто прилипали к металлу. Когда чашка наполнилась на палец, он заметил на поверхности тонкую плёнку. Она держалась даже после того, как он повернул посуду. Ведро с обычной водой из котельной выглядело иначе.

Он вынес чашку на холод. Плёнка стянулась к центру и стала почти незаметной. Вернув её к горячей трубе, Леон увидел, как края снова расползаются. Он отступил. Простой опыт ничего не говорил о природе вещества, зато объяснял, почему конденсат казался живым лишь возле тепла. Леон хотел позвать Морвэна и заставить его посмотреть. Потом вспомнил, как доктор уверенно называл выводы ещё до того, как измерил последствия для пациентов.

В коридоре шла фрау Гартманн. Она спросила, когда снова откроют прачечную: её платок нуждался в стирке. Леон сказал, что Агнеса заберёт вещи после обеда, и проводил женщину мимо машинной комнаты. Когда они проходили рядом с горячей обратной трубой, фрау Гартманн вдруг сказала голосом девочки: «Пусть он вернётся». Она сама удивилась и спросила, произнесла ли что-нибудь вслух. Леон сказал, что услышал слова. Она не могла объяснить, о ком говорила.

Он не стал вписывать их в официальный журнал. Записал отдельно имя, время и положение у трубы. В тот же день фрау Гартманн спокойно рассказывала о брате, которого ждала в молодости. Фраза могла принадлежать её собственной памяти. Леон не знал, чем отличается чужой голос от чужого воспоминания, если оба звучат из уст живого человека. Он отнёс чашку с конденсатом в каморку, закрыл и поставил рядом с заметкой. Это была первая вещь, которую он мог предъявить вместе со словами женщины.

Он начал со скамьи. Тряпка скользила по меди, оставляя за собой полосы. Леон выжал её в ведро и провёл ещё раз. Пятно не исчезало; оно будто въелось в металл. Он потёр сильнее, и тогда тряпка зацепилась за что-то под скамьёй. Леон присел и заглянул в щель между скамьёй и стенкой камеры. Там, в углу, собралась густая жидкость, похожая на сироп. Она держалась на металле, и в её глубине что-то тускло поблёскивало.

Леон протянул руку и коснулся жидкости пальцем. Она была тёплой. И в тот же миг комната вокруг исчезла.

Он стоял в другом помещении. Маленькая комната с низким потолком, окно забрано решёткой, на подоконнике — жестяная кружка. Дверь заперта снаружи; он слышал, как в замке повернулся ключ. За дверью кто-то ходил. Шаги удалялись. В комнате пахло мокрой штукатуркой и вереском. На стене, у самой койки, был процарапан узор. Леон хотел подойти ближе, но не мог сдвинуться с места. Он смотрел на узор, и в груди у него поднималось чувство, которое ему не принадлежало: тоскливое, тягучее, как будто он потерял что-то важное и не помнил, что именно.

Потом комната исчезла. Леон стоял на коленях перед скамьёй в машинном помещении, и рука у него была вытянута вперёд. Палец был чистым. Жидкость исчезла, будто впиталась в кожу.

Он выпрямился и сел на пол. Сердце стучало часто. В ушах ещё звучал поворот ключа. Леон посмотрел на свои руки: они дрожали. Он сжал их в кулаки и заставил себя дышать медленно.

За его спиной дверь камеры приоткрылась. Леон обернулся. Никого не было. Дверь качнулась ещё раз, будто от сквозняка, и остановилась. В коридоре было тихо. Потом со стен камеры снова начала капать вода. Капли падали на пол с ровным стуком, и в этом стуке Леону почудился ритм. Он поднялся и вытер руки о тряпку.

Из-под скамьи послышался звук. Тихий, сдавленный. Леон замер. Кто-то дышал под скамьёй, в узкой щели, куда не пролез бы и ребёнок. Леон наклонился и посветил лампой. Щель была пуста. Дыхание прекратилось.

Он закончил уборку быстро. Вылил воду в топку, закрыл дверцу и вышел в коридор.

В палате Эмиля было светло. Пациент сидел на койке и ел кашу. Увидев Леона, он отставил миску.

— Санитар, — сказал он, — я вспомнил одну вещь.

Леон остановился у двери.

— Какую?

— В комнате, где я жил раньше, на стене был узор. Три круга. Я его процарапал гвоздём, когда мне было двенадцать. Мать тогда сильно ругалась.

Леон почувствовал, как у него холодеет затылок.

— Три круга? — переспросил он.

— Да. Один в другом. Как мишень. Я не думал об этом много лет. А сегодня утром проснулся и вспомнил.

Эмиль смотрел на него спокойно, без тревоги. Он взял ложку и вернулся к каше. Леон стоял в дверях и смотрел на его руки. В голове у него звучал поворот ключа, и он чувствовал на пальцах чужую тоску.

— Ты помнишь, как выглядела комната? — спросил он.

— Маленькая. Окно с решёткой. Мать запирала меня, когда уходила на фабрику. Я сидел там часами и смотрел на стену.

Леон кивнул. Он хотел спросить ещё что-нибудь, но в коридоре послышались шаги Морвэна. Доктор шёл к машинному помещению, и его шаги были быстрыми и деловыми.

— До обеда не выходи, — сказал Леон Эмилю. — Отдыхай.

Он вышел из палаты и прикрыл дверь. В коридоре было тихо, и только из подвала доносилось ровное гудение топки. Леон посмотрел на свои руки. Палец, которым он коснулся жидкости, казался чужим. Он сжал его другой рукой и пошёл к лестнице.

У себя в каморке он сел на кровать и просидел так несколько минут, глядя в стену. Потом достал из-под книги расписку на уголь и перечитал её. Бумага была сухой. Он положил её обратно и закрыл глаза. Перед ним стояла маленькая комната с тремя кругами на стене, и он знал, что никогда там не был.

После обеда Морвэн ушёл в город. Он сказал, что вернётся к вечеру, и велел до его прихода закончить с осадком. Леон знал порядок: собрать влагу со стен камеры, вылить в ведро, снести в подвал и выплеснуть в топку. Так делали каждый раз после процедуры. Жидкость шипела на горячем металле и уходила в дымоход. Считалось, что она сгорает без остатка.

Леон взял ведро и спустился в машинное помещение. Дверь камеры была приоткрыта. Внутри на стенках снова блестели капли, а на полу под скамьёй собралась лужица, гуще вчерашней. Он собрал её тряпкой, выжал в ведро и понёс в подвал. По дороге жидкость плескалась о стенки, и запах усилился. Сладкий, тяжёлый, он оседал в горле.

В котельной было жарко. Леон поставил ведро у топки и открыл чугунную дверцу. Пламя внутри гудело ровно. Он поднял ведро и вылил содержимое на угли. Жидкость зашипела, взметнулся белый пар, и на мгновение запах стал невыносимым. Леон отступил на шаг, прикрывая лицо рукавом. Пар ушёл в дымоход, и пламя снова стало ровным.

Он уже собирался закрыть дверцу, когда заметил на металле тёмные следы. Они проступили на заслонке, будто кто-то прижался к ней ладонью с той стороны. Пять продолговатых пятен, растопыренных, как пальцы. Леон посмотрел на них и почувствовал, как у него сводит живот. Следы были свежие, влажные, и от них поднимался тонкий пар.

Он взял кочергу и провёл по заслонке. Пятна размазались, но не исчезли. Леон потёр сильнее. Металл был горячим, и кочерга нагрелась в руке. Он бросил её и вытер ладонь о штаны.

За его спиной, в глубине подвала, стукнула дверь. Леон обернулся. Никого. Только старый дымоход, заглушённый чугунной плитой, и тёплый шов в кладке. Он постоял немного, потом закрыл дверцу топки и повесил кочергу на крюк.

Морвэну он ничего не сказал. Доктор вернулся к вечеру, усталый, с папкой под мышкой, и сразу прошёл в машинное помещение. Леон слышал, как он ходит вокруг камеры, что-то бормочет и делает пометки. Потом Морвэн поднялся наверх и позвал его.

— Осадок убрал? — спросил он.

— Убрал.

— Хорошо. Завтра утром проветри камеру и замени тряпки. Послезавтра придут попечители, нужно, чтобы всё блестело.

Леон кивнул. Морвэн посмотрел на него внимательнее.

— Ты чем-то озабочен?

— Устал, — сказал Леон. — Много работы.

— Отдохни. Завтра будет легче.

Леон вышел из кабинета и поднялся к себе. В каморке было холодно. Он затопил маленькую печку, сел на кровать и достал из кармана стеклянную банку с притёртой крышкой. Внутри, на дне, лежала тёмная крупица — он собрал её с пола камеры, пока тряпка не впитала всё. Крупица была размером с горошину, мягкая и тёплая сквозь стекло. Леон закрыл крышку поплотнее и поставил банку на стол.

Ночью он проснулся от стука. Стучали в стену. Три раза, с паузой, потом ещё три. Леон лежал в темноте и слушал. Стук повторился. Он доносился со стороны стола, где стояла банка. Леон сел на кровати. В комнате было темно, только угли в печке тлели красным. Он протянул руку и нащупал банку. Стекло было тёплым.

Стук повторился. Три удара, пауза, три удара. Так стучала сестра.

Он сжал банку в руке. Стук прекратился. В комнате стало тихо, и только печка потрескивала остывающими углями. Леон посидел ещё немного, потом встал и спрятал банку под кровать, в щель между досками и стеной. Там её никто не нашёл бы.

Он лёг и закрыл глаза. Стук не повторялся. Но когда он уже засыпал, ему показалось, что в глубине подвала, за глухой чугунной плитой, кто-то ответил ему тем же ритмом. Леон открыл глаза и прислушался. В доме было тихо. Он повернулся на бок и до утра пролежал без сна, глядя в стену.

Наутро Леон попросил Готлиба показать, как обслуживают заслонку. Старший санитар удивился: раньше Леон оставлял машинное помещение ему. Теперь Леон взял кочергу, щётку, ведро для золы и проделал всё под его взглядом. Он хотел знать, что почувствует металл, если внизу станет слишком жарко; где на ощупь заканчивается старая кладка; сколько шагов от топки до двери. Готлиб похвалил старательность и ушёл завтракать. Леон остался и снова посчитал шаги.

В журнале топлива не хватало двух ведер угля. Готлиб говорил, что их отсыпали для кухонной печи, но кухня топилась дровами. Леон проверил записи за неделю. Расход возрастал в ночи процедур и падал на следующий день. Морвэн в отчётах писал о постоянной экономии. Показания не сходились. Леон скопировал числа на оборот своей расписки и положил лист к схеме. Ни одного вывода он пока не делал: несовпадение могло объясняться ошибкой подсчёта. Но если понадобится убедить кого-то остановить камеру, одного рассказа о голосе Марты будет мало.

В столовой он встретил Агнесу. Девушка обжигала пальцы о миску с кашей и держала ложку в другой руке, словно забыла, что миска горячая. Она сказала, что ночью возле прачечной слышала, как кто-то зовёт ребёнка. Леон спросил, откуда шёл голос. Агнеса указала на стену с отопительной трубой. Она не спрашивала, что это значит; ей хотелось знать, не заблудилась ли в корпусе чья-то дочь. Леон объяснил, что детей в этой части приюта нет. Агнеса уставилась в миску и отставила её.

Позднее он вернулся к прачечной с лампой. Возле трубы на штукатурке проступили три короткие влажные полосы. Он посветил снизу и увидел, что они совпадают с трещинами вокруг крепления. Влага шла из стены. Если кто-то стоял на другом конце комнаты, полосы походили на следы пальцев. Леон потрогал их тряпкой. Сладкий запах прилип к ткани и не уходил после воды. Он положил тряпку в банку и закрыл крышкой. В другой банке лежала крупица из камеры. Эти два образца имели разную форму и одинаковый запах.

Морвэн прошёл мимо в полдень. Леон спросил, когда будут чистить старый канал. Доктор ответил, что в старом канале ничего не движется. Леон повторил вопрос иначе: кто проверял заглушку после установки короба. Морвэн сказал, что печник. Они стояли у лестницы, и любая задержка привлекла бы внимание Готлиба. Леон кивнул. Доктор ушёл. На краю его манжеты осталась тонкая серая пыль, как на новой замазке. Леон догадался, что Морвэн проверял шов лично.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.